

Во имя сотрудничества с русскими национальными силами, действующими и развивающимися внутри России, каждый зарубежный русский должен, прежде всего, бороться за свободу духовного творчества и за самостоятельность творческого, никаким «сталинизмом» не покрываемого, в своих предчувствиях пророческого пути.

П. Савицкий.

Через двадцать лет

(ЮБИЛЕЙНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ)

На третий день после октябрьского переворота, в редакции «Речи», на ул. Жуковского, собралось много народа, так или иначе связанного с газетой. Люди, ошеломленные событиями, пробирались туда, где они надеялись что-либо узнать и как-нибудь осмыслить происшедшее. Представлены были, что называется, сливки интеллигенции: профессора, общественные деятели, публицисты. Но Милюков был уже на пути к югу, и без него разговоры приняли характер не столько политики («что делать?»), сколько гаданий: когда это кончится? Большинство оставалось твердо убеждено, что больше двух недель не продлится. Меньшинство пыталось возражать: пожалуй, и до весны. Двое или трое пессимистов (среди них А. С. Изгоев) робко, среди общего негодования, высказывали сомнение: кто знает, может-быть, это затянется и на три года.

Такие юбилейные воспоминания (а у каждого найдутся воспоминания в этом роде) не только отбивают охоту к оптимистическим прогнозам, но и заставляют с осо-

бой осторожностью задуматься о другом: не «когда это окончится», но кончится ли вообще, или вернее, что о же именно может и должно окончиться, а что и вообще уже в том смысле, как мы понимали и ждали, — кончиться не может.

Словесно, с такими мыслями легко справиться: в распоряжении эмигрантской публицистики есть целый набор благонамеренных клише, вроде того, что «к прошлому нет возврата», что «новая Россия рождается в огне и буре», и прочая вербалистика, легко переходящая в уже совершенную пошлость о «признании завоеваний революции».

В сущности же, по самой природе нашей позиции — исторической и географической — мы никогда не сможем окончательно освободиться от духовной связи с той анекдотической старушкой, которая ждет, когда же становой отберет от мужичков и вернет ей серебряные канделябры. Нам неизбежно представляется, что что-то должно стать на место, сделаться таким, как было раньше; отсюда любимые образы: «спадет кровавая пелена», «из-под судорожной гримасы проступят знакомые черты», и т. п.

Между тем, сомнительно даже, заметим ли мы, когда кровавая пелена спадет; и уж наверное черты, которые проступят из-под гримасы, покажутся нам незнакомыми.

На вопрос, что именно должно окончиться, ответ представляется бездумно-легким только потому, что существует такое удобное слово «революция», которое дошло до крайних пределов неопределенности, охватывает все что угодно, и решительно ни к чему не обязывает. Так просто перебрасываться словами: «социальная революция», «национальная революция», «революция мысли», «революция духа», и т. д., и т. д. Если же, вместо блестящего термина, в формулу подставить маленький остаток его содержания: «резкая перемена», орех оказывается пустым. И уже во всяком случае: «ждем окончания резких перемен» — полная бессмыслица.

Окончания чего же мы ждем? Террор, конечно, не сущность явления, а только внешний симптом, вроде отвратительной сыпи. Власть обожаемого вождя? Очень со-

блазнительно успокоиться на том, что в ней вся суть: недаром же она все собою наполнила, и институт «отца народов», даже по имени, стал такой тщательной перелицовкой лубочного «царя-батюшки», что позитивными методами не удастся установить фальсификации, а приходится прибегать к спектральному анализу ауры. Правда, из-за плеч родного и любимого выглядывают и родной Ежов, и родной Каганович, и столько еще родных, поджидающих вакасий, а все же тень одного человека покрывает Россию. Политически и тактически, для установления прицела, этого достаточно, но чтобы ответить самому себе: почему не окончилось ни через две недели, ни через двадцать лет? да что же и когда может окончиться? — нужно стараться смотреть с такого расстояния, на котором фальшивый свет лозунгов и титулов не слепил бы глаз.

*
**

Трудно сомневаться в том, что существеннейший вопрос, который решается в России в эти страшные годы, это — быть ли ей великой империей, или рассыпаться на национальные государства. Вероятно, в борьбе центробежных и центростремительных сил и заключается основное содержание того, что мы называем русской революцией.

Эти процессы, однако, протекают на такой глубине, что их почти невозможно непосредственно наблюдать. При том, едва ли они серьезно поддаются сознательному воздействию. По крайней мере, там, где можно было судить, такое воздействие оборачивалось противоположным концом: из «самоопределения вплоть до отделения» происходило соединение железными клещами; насильственное насаждение мордовской или бурятской учебы приводило к тоске по русскому просвещению; а с другой стороны, борясь за «единство», мы цеплялись за сепаратизмы; может быть, даже, если бы до конца покровили душой и плотнее за них зацепились, — внешне выиграли бы игру, но, конечно, навеки проиграли бы ее по существу.

Вот где без преувеличения можно сказать, что вопрос

решается в сокровенных тайниках народной души. Остается лишь надеяться и верить. Отрешившись от всяких эмоций, забывши любовь к отеческим гробам и родному пепелищу, ставши на точку зрения самого отвлеченного, самого сухого и бездушного космополитизма и утилитаризма, все же нельзя не признать, что проблема сохранения или распыления империи ни с чем не сравнима по своему значению. Подумать только, что было бы, если бы 112 племен, веками живущих под одной общей крышей, смешавшихся в никем не стесняемой чересполосице, должны были всерьез размежеваться. Сколько десятков открылось бы Эльзас-Лотарингий и Македоний, какой зародился бы пескончаемый поток взаимной ненависти, войн, восстаний, и какими ядовитыми испарениями заражен был бы на многие поколения весь мир.

Может казаться, будто под этим углом зрения в настоящее время все обстоит благополучно. Как-никак, распад был остановлен. В официальном строении советского государства именно те положения, которые относятся к сожительству народов, позволительно считать одним из совсем недурных решений проблемы. Но есть ли, хоть с этой стороны, какое-нибудь соответствие между видимостью и действительным содержанием, или же и тут ничего не окажется кроме лжи? Было бы очень легкомысленно думать, будто все, скрепленное, после 18-го года, цепью диктатуры, действительно спаяно воедино. Это мы узнаем только, если цепь спадет.

Невозможно ни учесть, ни представить себе чудовищное напряжение пущенных в действие сил: пробуждение стольких местных, узко-национальных центров притяжения; иногда восторженное, иногда принудительное пропитывание новыми — или полузабытыми — эмоциями племенной связи; стремление в этом близком, хоть и тесном, убежище укрыться от бури; а в то же время — передвижение миллионов, вольное и насильственное, на тысячи и тысячи километров; огромные и разноплеменные толпы, сбитые в одну плотную массу, на заводах, в казармах, на стройках; однородность тех готовых идей, которые

искусственно вбиваются, и других, которые сами смутно зарождаются в десятках миллионов девственных голов; как рассчитать конечный результат этих противоположных воздействий, внезапно обрушившихся на косную человеческую глину, и лепящих и формирующих, и уродующих ее? Может-быть, и вправду получится монолит; а может быть, все развалится. Очень вероятно и то, что результат не окажется всюду одинаковым, что известные группы, на некоторых окраинах, отвалятся, как куски недостаточно размещанного бетона, останутся духовно слишком далекими от целого, даже для того, например, чтобы быть членами общей федерации, и образуют самостоятельные государства, с которыми возможна будет разве лишь конфедеративная связь. Вряд ли это было бы роковым для целого. Есть, однако, среди десятков национальных вопросов один, от которого зависит судьба русского народа: если теперь, когда окончательно определяется его самосознание, отколется, как особая народность, украинская его ветвь, не будет великой России, не будет империи, а будет Московия. Если же великорусское и малорусское племена выйдут единым, как прежде, но осознавшим и утвердившим свое единство народом, неизбежно уладятся все другие имперские вопросы. Важнейшая дилемма русской революции — империя или распад — может решиться только в Киеве.

И в этом важнейшем вопросе приходится лишь догадываться, по косвенным признакам, о том, что складывается, — а вернее, уже сложилось за эти годы — глубоко в народной толще.

Как раз несколько недель назад произошло (хоть и вне России) событие, сравнительно мало заметное, но внутренне связанное с основными процессами русской жизни. Самому отдаленному обломку малорусского племени пришлось свободно высказаться за или против русской культуры. То, что, вопреки неблагоприятной обстановке и годами длящейся враждебной агитации, огромное большинство темных, рассеянных в Карпатах крестьян не отреклось от русского имени и языка, наглядно показывает, как

напрасны искусственные воздействия в этих основных и каждому понятных вопросах.

Тем самым оправдана надежда, что и внутри России народ Петра Могилы, Богдана Хмельницкого и Гоголя останется верен своему тысячелетнему прошлому, и что окончательная форма, в которую отольется, в борьбе противоположных воздействий, его национальное самосознание, будет южно-русской, а не анти-русской.

Рост нового, сознательного единства — в тисках нужды, насилия, в хаосе новых мыслей и эмоций — есть важнейшее, что происходит в России. Конечно, ни за две недели, ни за два года оно создаться не могло. Мы не знаем, завершился ли и теперь процесс, не можем быть уверены и в том, что он благополучно завершится. Но чтобы «это кончилось» — т.-е., чтобы могла начаться мирная человеческая жизнь — основное, что необходимо, это кристаллизация национального самосознания.

*
**

На втором месте с точки зрения судеб России, но, пожалуй, на первом месте для современников, стоит процесс наращивания новой социальной иерархии. Совершенно очевидно и давно стало общим местом, что «революция уничтожила тонкий культурный слой», однако, и до сих пор, нелегко осознать всю грандиозность происшедшего обвала. Конечно, нигде в нынешней Европе нет ничего, даже отдаленно похожего на культурную двойственность прежней России. Пройдут еще два-три десятка лет, исчезнут последние свидетели, и никакие исследования, никакие мемуары не дадут живого представления об этом удивительном сосуществовании как бы двух наций, совершенно различных по обычаям, вкусам, вере, и почти не знающих друг друга. Если за последние полвека «добрый, умный наш народ» по языку уже не имел основания нас считать за немцев, то, ведь, все же даже лингвистического единства не получилось, а продолжался в самом прямом смысле разговор на разных языках.

Попытки барина об'ясниться с народом (красочный образчик которых дан в недавно опубликованной революционной прокламации Чаадаева к крестьянам) полны такого же горького комизма, как епиходовский язык мещанина, старающегося выразаться по господски.

Поразительная особенность русской жизни (подготовленная, конечно, табелью о рангах и всей системой дворянства по выслуге) состояла в том, что культурное разделение совпадало с делением на господ и подлый народ: «интеллигент» непременно был «барином»¹⁾. Культурный слой, впитавший в себя такое множество разночинцев, что, пожалуй, природные бары оказались в меньшинстве, по своим духовным основам, по руководящей своей идее оставался барским²⁾.

Именно этот налет аристократизма придавал русской культурной жизни особую прелесть, но он же и предопределил ее гибель.

Совершенно естественно, что распад барского слоя кажется исчезновением самой России: все, что оставалось за его пределами, было чуждо и плохо понятно. Трудно отчетливо себе представить даже то, как оставшаяся, т.-е. простонародная Россия воспринимает существующий строй. Никогда не следует забывать, во избежание грубых ошибок, что угол зрения у нее совсем иной. Извергающего матерщину милицейского комиссара ей приходится сравнивать не с подтянутым околоточным и не с городовым, а

1) В замечательных мемуарах И. В. Гессена «В двух веках», очень характерно, как автор, назначенный кандидатом на судебную должность, приезжает в Тулу и находит суд разделенным: «Далеко не весь состав получил университетское образование. Большая часть состояла из разночинцев... Меньшая часть принадлежала к дворянскому сословию... и с разночинцами домами не зналась». Автор — разночинец, бывший сыльный, состоявший под надзором полиции, да к тому же еще и еврей, совершенно естественно оказывается, как интеллигент, членом дворянской группы.

2) Единственный из больших русских писателей, не родившийся барин, — Чехов. Ему совсем не легко дался духовный переход в барский класс (о чем встречаются яркие свидетельства в письмах), и, как так, как он, не ощущал трагизма двойственности русской жизни. Например, «Бабье царство» есть настоящий социальный трактат на эту тему, больше поясняющий ее, чем какие бы то ни было рассуждения.

со стражником, совсем не чуждым рукоприкладству; безграмотный нарсудья приводит на память не торжественные судебные уставы, а столь же безграмотного волостного старшину или распекающий бас земского начальника. Бесчинство раскулачиваний и произвол колхозного начальства противопоставляется не гранитным устоям X тома, а весьма шаткому правопорядку крестьянского двора и общинных переделов. Конечно, сравнение все же далеко не в пользу настоящего; но это настоящее, весьма возможно, не кажется такой нестерпимой и отвратительной карикатурой, какой оно должно бы представляться по нашему разумению.

В старой России был только один институт, в котором двойственность преодолевалась, сводилась к высшему единству: армия. Согласно со всем складом жизни, она была строго построена из двух половин: господской и простонародной³⁾. Но в армии барин переставал быть непонятным и лишним существом, потому что он выполнял свое историческое назначение, ту должность, для которой был веками вскормлен и вынянчен простым народом. Он приказывал и принуждал ради общей цели, всем одинаково понятной и близкой.

Совершенно естественно, что в момент разложения, когда рухнуло сознание этой общей цели, армия распалась на свои две составные части, и что из них родились две армии: белая и красная. Хоть в первой, наверное, добрая половина была крестьян, а второй командовало немало родовитых генералов, по своему существу, и даже по внешнему складу, одна была офицерской и господской, а вторая солдатской и простонародной. Этим и определился исход их столкновения.

Корень двойственности, который теперь представляется очевидным, вовсе не казался таким четверть века назад. Люди моего поколения, слушая в детстве старческие воспоминания бывших крепостных или рабовладельцев, дума-

³⁾ Что, конечно, вовсе не препятствовало Кутеповым, Корниловым, Ивановым, Макаровым и тысячам других солдатских детей быть в господской половине.

ли, что перед ними повесть о давно исчезнувшем и забытом, таком же далеком и страшном, как татарское иго.

Только когда в революции зазвучали ноты запоздавшего на шестьдесят лет крепостного бунта, тогда стало видно, что между крепостной Россией и Россией революционной — едва заметная хронологическая расщелина. Оказалось, что аргументы «наших дедов на щенят меняли», «господам Екатерина земли даром дарила», свежими долежали среди скудного запаса крестьянских идей, сохранили всю остроту современности, способны вызывать искренний пафос и на весах истории весят в тысячу раз больше доводов разума и логики.

Да что-ж, в декабре 1934 года, т.-е. на 18-ом году социальной революции, покойный Е. Е. Лазарев писал по поводу смерти Е. К. Брешко-Брешковской: «С гордостью вспоминаю, что я, бывший крепостной, одновременно с Екатериной Брешковской, кающейся дворянкой, ходил в народ»; при этом он считал нужным пояснить, что «в нашем общении, дворянки и крестьянина, нет ничего удивительного».

Вот где подлинно чувствуется «связь времен»: то, что нам представлялось долгой исторической эпохой, уходящей чуть не в древность — в сущности, короче одной человеческой жизни. Несмотря на грандиозный материальный прогресс, по своей социальной и идейной структуре Россия, вступая в революцию, все еще была корнями в крепостном праве.

И потому, после исчезновения бар, осталась однородная, серая масса «простого народа». Не будем самообольщаться: пусть прекрасны те юноши и девушки, о которых с таким энтузиазмом говорилось недавно в «Письмах оттуда», и которым выпала удача сохранить культурное наследие прошлого; они ценны, необходимы, с ними связаны лучшие надежды на очеловечение будущего, но, конечно, они лишь редкое исключение, и не им вытащить на своих хрупких плечах Россию.

Какой бы густой дух грубости и невежества ни шел от царенька-выдвиженца, с натугой прогрызающего скуд-

ную учебу, и мечтающего о патефоне или велосипеде, ни на кого другого ставки не поставишь, потому что больше никого и нет. Только бы поскорее они обросли прочными социальными коэффициентами, из нерасчлененной, рабской толпы сложились бы в крепкую пирамиду, прониклись бы убеждением в своей знатности, уверенностью в своем инженерском или майорском достоинстве.

Кто — по крайней мере, на этом свете — сможет учесть и взвесить их былые грехи и заслуги? Были бы они верны России, — а видимо, хоть примитивно, хоть по-звериному, они ей преданы. Если так, неминуемое свершится, «спадет кровавая пелена», и они проделают свой путь в Дамаск. Нам то, может-быть, совсем не легко будет признать в них Павлов, но ведь, пожалуй, и им не так уже нужно, чтобы мы их неприменно заключили в объятия.



На самой глубине — кристаллизация национального единства; ближе к поверхности — кристаллизация новой иерархии. Оба процесса так грандиозны, так геологически стихийны, что напрасно было бы ждать результатов, подходящих под заранее готовую мерку наших надежд или желаний. Хватило бы лишь душевных сил узнать Россию, не отвернуться от нее. Да, конечно, все та же, «лес да поле, да плат узорный до бровей». Но как груб, как чужд покажется нам ее облик.

Особенно же надо учиться ничего от нее не требовать. Канделябры и нортсигары можно забыть: труднее расстаться с фантастическими мечтами, сто лет мутившими сознание.

Ну что-ж, ведь вот и доскакала тройка. Все пророчества исполнились и отзвучали. И заветы Чаадаева, и гениальное кликушество Гоголя, и поздние, холодноватые утопии Герцена, и бредни славянофилов, и домашние сочинения Михайловского — «всему конец»... Вся эта обольстительная, туманная атмосфера, весь этот сто лет стоявший морок, отравлявший именно то, что было наиболее

даровитого и смелого, неразрывно связан с ушедшей, барской Россией. С той самой поры, как блестяще завершилась прежняя миссия дворянства, и на Сенатской площади прегражден был путь к новой миссии, с той поры, как русская история сошла с рельс, и бары стали лишними людьми, живая, реальная Россия сделалась для них скучновата. Тогда то и потянуло на Апокалипсис, на завершение мировой истории, на подмену настоящей России то международным фаланстером, то Славией, то Византией, то Евразией⁴).

Февральская революция, бывшая в первый момент никакой, нейтральной, политическим переворотом, направленным на очень конкретную, персонально-ограниченную цель, и сделанная всеми (как теперь ни отрекайся!), стала крепостным грабительским бунтом, потому что туда ее толкнула мужицкая Россия. Но элементы утопии и изуверства, насильственное введение всеобщего счастья, уничтожение ближних ради дальних и кровавая мистика будущего, — это уж целиком от барской России.

Готовность скорее сгноить страну, чем позволить ей жить обыкновенной, жалкой, человеческой жизнью, все это, конечно, идет издалека и вовсе не от одних Бакуиных да Нечаевых. Надо лишь вслушаться в презрительные слова Леонтьева: «Но что сказать об этой России, от которой мы все имеем ждать так много!» — и в них явственно проступает Ленинская интонация. Этот добродушный, сусальный Ильич, накануне смерти проклявший мужика, а ныне в своем мавзолее ставший таким отъявленным патриотом, мог бы сказать то же самое — потому что и ему, конечно, Россия была дорога, но только Россия выдуманная.

Что и говорить — Горьковские «планетарные масштабы» он не сам изобрел. Они прямо оттуда — из душного,

⁴) Если бы евразийцев не было, их надо было бы выдумать — просто с эстетической точки зрения, чтобы закончить круг поисков выдуманного отечества. Есть глубокий смысл в том, что до евразийства дошли после того, как реально повидали «Византию» и «Славию» (но, конечно, не те, кто реально увидал родину Чингис-хана).

неподвижного, загнивающего воздуха Прямухинской усадьбы. Теперь, когда ее больше нет, конец и планетарным масштабам. Да, правда, изредка еще прорывает — по старой привычке, раззудится рука:

«Не будем принимать конец коммунистического этапа за конец великой Революции... Подлинный путь России... углубление революции, через разрешение национальными силами поставленных ею мировых вопросов. Без этого мирового размаха подлинного русского национализма не может быть. Что же делать: мы такими родились на свет...»⁵⁾.

Но это уж так — последняя рюмка, в шесть часов утра. Морок кончается. «Летит обыкновенная, простая, земная жизнь — навстречу и в ответ».

К этой простой, земной жизни и идет Россия. В концепции новых людей, поднимающихся из мужицкого моря, даже апокалиптические пятиалетки, долженствовавшие создать новое небо и новую землю, превращаются в мечту (хоть пока и неудачную) о веселой и легкой жизни, о моде и швейной машине.

Да, конечно, у России неминуемо будут великие задачи: есть они и у других, и не могут не быть у первого в мире государства. Но это конкретные, земные задачи, «великий жребий», начертанный русскому народу в таком смысле, как понимали в XVIII веке.

Кончается период «хвастовства будущим», по гениальному выражению Гоголя (который был, однако, одним из основоположников этого хвастовства). Разумеется, такая перспектива кажется оскорбительной. «Хвастовство будущим» слишком в'елось в кровь. Как не сказать, что люди, осмеливающиеся лишать русский народ ореола исключительности и мессианства, просто неспособны понять его душу, чужды ей, заслуживают презрения и остракизма.

Что-ж, если нужно, следует и это принять. Ради живой, действительной, исторической, а не выдуманной России, жертва не велика. Да к тому же, будешь в хорошей компании — с Петром и Пушкиным.

⁵⁾ «Бодрость», 2 мая 1937 (тысяча девятьсот тридцать седьмого) года.

*
**

Да, ни за две недели, ни за два года это не могло «окончиться»: слишком многое должно на одной стороне — сформироваться, на другой рассеяться. Ничуть не удивительно, что и за двадцать лет не окончилось. Но как будто бы вдали уже виден конец. Встает серое, холодное, бодрящее, бесжалостно-трезвое утро.

Ю. К. Рапопорт.
